

М

ягкое северное небо держалось на трех трубах апатит-нефелиновой фабрики и моем деревянном окне, выпирающем многоугольной скульптурой из пятого этажа общежития Арктического университета. Другое, кухонное, окно, в котором, если присмотреться, мерещился сероватый туман Расвумчорра, сливалось с небом, и иногда казалось, что, подойдя вплотную, можно окунуть в него нос.

Вечерами я ходил от одного окна к другому. Поскрипывали деревянные, крашенные грязно-коричневой краской полы, дышали чуть отошедшие от стен обои, в литровой банке из-под соленых огурцов тихо светилась так и не успевшая зацвести веточка сирени.

Под утро приходил сосед, будил меня (в то лето я спал особенно нервно и чутко), и я почти до самого подъема ворочался, измученный сам собою.

Утром ехали на завод или на рудник, работали над довольно бессмысленными студенческими отчетами, а вечером, когда возвращались, сосед почти сразу уходил на тусовку в одну из комнат на нашем этаже, и все повторялось.

Вечера я любил. Любил это гордое, свинцовое одиночество. Стук собственного сердца, потрескивающую под старым чайником электрическую конфорку, запах

нагретого вина, верный сигаретный дымок, упирающийся в беленый потолок и медленно растекающийся по нему.

Любил однокурников, не то чтобы не обращавших внимания, но, кажется, несколько побаивающихся меня. Вполне хороших и ясных ребят и девушек, в глазах которых я, должно быть, слыл одновременно высокомерным снобом и скучновато-надменным болтуном.

Так длилось все пять университетских лет, а здесь, на Севере, только укрепилось.

Конечно, я любил их как раз за это стойкое безразличие, дававшее мне и спокойствие, и свободу. За безразличие, которое при всей своей непоколебимости иногда смешивалось с презрением. Последнее особенно способствовало гордости и как будто придавало значимость моему одиночеству.

После недели довольно бессмысленного шатания по местным предприятиям нас ждали горы: стокилометровый пеший маршрут на четыре дня и три ночи.

Уезжали мы рано утром с маленького (по меркам Москвы почти игрушечного) апатитского вокзала.

Белое солнце. Гулкий и сырой после ночного дождя перрон. Холодный ветер. Вагон рабочего поезда, который за полярным кругом часто выполняет роль электрички. Кучка аборигенов.

Однокурники толкнутся у двери вагона, как комары под ночной лампочкой. В очереди, как в эволюции, побеждает сильнейший и хитрейший. Этого у них не отнять.

Обычно я довольно пренебрежительно относился к подобным сценам, но в это утро смотрел иначе. Я знал, что совсем скоро мы вернемся в Москву и расстанемся навсегда. Разве что выпускной... от него вряд ли получится отвертеться. Но я твердо знал, что по-настоящему вижу их последние дни и тайно радовался этому. Подмечал (на память, так сказать) детали особенно противных мне, старался запомнить образы немногочисленных приятных (исподволь приятных: где-то в глубине души я чувствовал, что с некоторыми мог бы вполне подружиться).

Огромные черепахи рюкзаки на спичечных девичьих ножках. Неумелые, торчащие горбом, на мальчишках они смотрелись по-другому и все-таки выпирали настолько, что казались театральной бутафорией, пустышкой.

Когда залезли в старый плацкартный вагон, переделанный под сидячий, начался дождь. Мелкий, похожий на туман, он обволакивал грубоватый вагонный шепот, влажный и мягкий его полусвет.

Я сидел у окна, спиной к движению, рядом со своим соседом, напоследок уткнувшимся в телефон, и старым сердитым дядькой, который, казалось, из последних сил сдерживал свою испитую морду, чтобы она, чуть дрогнув, не рухнула на пол и не растеклась. Все его существо выдавало напряжение, последнюю волю последнего северного романтика, приехавшего сюда годам в 80-х, на самом излете эпохи. Ехал он по ягоды: из желтого каэспэшного рюкзака, зажатого между ног, торчало пластмассовое ведро.

Мне хотелось поговорить с ним, но я не решался.

Вагон медленно тянулся вдоль Имандры, как новый бегунок на старой молнии в заботливых хозяйских пальцах.

Хибины. Какие-то Медвежьи ручьи. Нефелиновые пески. И наконец — Имандра. Двухэтажная, серого кирпичка коробка: пост дежурного станции. Несколько деревянных домов-скворечников. И все — мутная сырая зелень и долгая дорога вверх, на восток, к Чорргору.

Совершенно скоро из тумана под собственной его тяжестью проступают, как

долгожданные слезы, холодные капли дождя. И тонкая нитка нашего бесшумного пути на попадающихся изредка камнях начинает позвякивать.

Бусы.

Часа через два с половиной, после короткого привала у Гольцовки, камней уже столько, что наше позвякивание превращается в серебряный, едва неразличимый перезвон, рассыпающийся между кривых березовых стволов и ухающий в лишайник.

Гольцовка сужается до ручья и уходит вправо, куда-то в сторону перевала Ферсмана. Березовое криволесье становится арктической тундрой. Начинается снег. Слежавшийся, каменный снег, который не тает никогда. На нем — странные и злые рисунки из пыли и проталин, похожих на впалые щеки. Да, огромное лицо! Сильное и тяжелое, размером с наш дом на Мещанской. Смотрю на него, как в зеркало.

На подходе к Чорргору туман сгущается так, что идти становится невозможно. Приваливаемся к камням. Лица едва различимы. Они плывут, меняются друг с другом, одно переходит в другое. На время туман уступает снегу, потом дождю.

Решаем идти.

Но метров через двести останавливаемся. Снова налегает туман.

Я, нарочно чавкая, жую снег. Почему-то хочется, чтобы на меня посмотрели. Но туман съедает звуки. Ничего не остается. Или это все-таки на меня никто не обращает внимания?

Впереди суетятся. Тени колышутся, как огромные серые простыни на ветру. Кто-то, наверное, подвернул ногу. Кто-то плачет, окончательно выбившись из сил.

Но почему ничего не слышно?

Где эти сопливые юношеские стоны и всхлипы?

До отворачения тихо.

Господи, как хочется говорить!

Кто-нибудь есть рядом со мной? Переваливаюсь на правую сторону — камень. На левую — снег.

Больше всего на свете хочется тела. Женского горячего тела! Чувствую, как от холода и сырости, от подступающего возбуждения твердеют мои соски.

Господи, я никогда не знал женщины!

Когда от внезапной слабости, которая всегда предшествует влажной, как будто войлочной, обиде, смертельно утяжеляющей сердце, я закрываю глаза, кто-то пихает мой кирзовый сапог.

Сосед.

Что ему от меня нужно? Сигареты вымокли. Баклажку с водкой я все равно не отдам... Как медленно проступает, вырисовывается его лицо. Какие невнятные и противные у него черты.

Нужно идти. Иначе мы просто замерзнем. Как просто замерзнуть. Как просто, оказывается, умереть. Только глаза закрытой.

Но теперь идти легче. Теперь я иду ради женщины, еще неведомой женщины, которая, конечно, ждет меня там, за перевалом, в райской долине небесного Кунийока. О, маленькая моя саамка! За все мучения — награда мне ваша бледная рука.

Я иду последним, и мне хорошо. Я знаю, что никто не видит меня и никому я не нужен, что никакая тварь не посмеется сейчас надо мной, в эту священную минуту великой любви.

Мне хорошо.

Я замедляю шаг.

Чуть покалывают слабые, мягкие ноги.

Сердце бьется глухо и редко.

Это от любви.

Уже виднеется причудливый хохолок брезентовой вежи, уже слышно суетливое дыхание ее лопарских лаек.

Осталось совсем немного. Сейчас я дождусь, когда ребята уйдут подалее, сниму надоевший ледяной рюкзак, насилу приковывающий меня к этим мертвым камням, и пойду гордо и смело. Как умею один только я.

Милая моя саамка! Как властны и жгучи твои глаза, какие дикие твои влажные губы. Да, губы к губам, нос к носу. Это настоящий саамский поцелуй.

Только почему темнеет? Почему меркнет твоя вечная белая ночь? И дождь, дождь — как будто по стеклу.

...Всю ночь — дождь. Ровный и праведный, родной: болезненные эротические видения растекаются, как тушь по лицу. Только изредка, рывком, похотливым язычком синего пламени — ветер. И снова горсть холодных капель.

Просыпаешься и засыпаешь. Одновременно и противно (злишься на самого себя), и страшно, как и всегда ночью: ждешь рассвета. Чуда. Спасения. Реальности. Больше не сопровитвляешься, отдаешься времени, как взрослой (на жизнь взрослее тебя — с ребенком) женщине. И плывешь. К свету. К миру. К материи, которую так презираешь днем и которую так хочешь, с физической болью, ночью.

Рассвет, конечно, не наступает. Поздней московской осенью не бывает рассветов. Просто небо чуть выцветает, устает.

Белая-белая ночь.

Встаешь с дивана и сразу ныряешь в резиновые сапоги. Ноге жестко и г(л)адко, как внутри оцепеневшей гадюки: босиком, даже носки не надел.

И — в лес: вылез в лес.

Хорошо, что гадюки спят. Не засыпают и просыпаются, как я, а просто спят. Потому что не могут иначе. Потому что иначе не бывает.

И хочется такой жизни. Понятной. Верной жестоким законам. Прекрасной и глупой от неведения, где нет ни радости, ни страха, ни любви, ни даже смерти, потому что смерть не-мыслима. Хочется счастливой животной жизни. Гадючьей или мышьиной. Лягушачьей. Не-че-ло-ве-чес-кой.

Из-за вот этого всего и тащишься с утра пораньше в лес. В любой лес. В любую погоду. Юннат-вуайерист! Впрочем, спаривание в этом смысле интересует едва ли не в последнюю очередь. Идешь подглядывать за другой жизнью. И не как биолог (биограф!) или фотограф-анималист. Это девиация иного характера: сущность, внутреннее, скрытое содержание, синтаксис живых существ...

Листьев нет. Облетели еще до Покрова. Высыхали весь сентябрь, чуть потрескивали, скручивались, чахли на глазах: целый месяц дождя не было. А потом, числа десятого, с первым дождем и облетели. За день. Скрученные, они были похожи на глаза. Летели и щурились.

Теперь, правда, долго еще им лежать. Перегнивать не ворочаясь. Становиться землей и воздухом. Воздухом и землей.

Ветра тоже нет. Все голо, конкретно и ритмически безупречно.

На входе почтительно замираю. Как перед искусством, перед искусением. О, дрогни натяжение, впусти! И врываюсь. И странно миру и хорошо. Без меня, чудака, оказывается, ничего бы не существовало.